

G





ГЕОГРАФИЯ ПЕРЕВОДА

*Перевод с польского
Сергея Морейно*

РОМАН ХОНЕТ

Месса Лядзинского

Русский Гулливер

В основе книги лежат издания

R. Nonet. *moja*, Biuro Literackie, Вроцлав 2008

R. Nonet. *piąte królestwo*. Biuro Literackie, Вроцлав 2011

R. Nonet. *świat był mój*. Biuro Literackie, Вроцлав 2014

Роман Хонет. Месса Лядзинского.

Русский Гулливер, Москва 2017. – 116 с. (12+)



Книга выпущена при поддержке

польского “Института Книги”

(Программа переводов ©POLAND)

Права на публикацию предоставлены

издательством “Biuro Literackie”



Руководитель проекта – Вадим Месяц

Составление и перевод – Сергей Морейно

Допустим: поэзия Хонета – это поэзия против «непоэзии», против языка неокрыленного, держащегося речи, навыка или себя самого; языка – так или иначе – стреноженного, питающегося недостатком веры в себя, без которой не высказать невыражаемое, не высказать очевидное и не выразить одновременно опыт и личность (Петр Сливинский). Если поиграть в сравнения, то Хонет – это Босх сегодняшнего дня, только ад его графичен и подчеркнута персонален. При этом он нуждается в собеседнике по ту сторону провода или волны. В пространстве его голоса мы балансируем на нищевской грани: когда ты смотришь в бездну, она тоже смотрит в тебя, своей изысканно детализированной брутальностью провоцируя пароксизмы нежности.

© *Copyright by Biuro Literackie*

© Роман Хонет: *тексты, 1996–2014*

© Сергей Морейно: *переводы, 2016*

© Русский Гулливер: *издание, 2017*

ISBN 978-5-91627-158-4

СОДЕРЖАНИЕ

МОИМ БЫЛ МИР

- зимняя уборка 11
- поэтому ничего 12
- лилия 13
- ковы 14
- разговор продолжается 15
- глянец 21
- сон о голове под жидким небом 22
- исповедующий отворачивается 23
- ожидающий вдовцов отворачивается 24
- инструменты времени 25
- красный хлеб 26
- те с нами 27
- танцы с коровами 28
- пейзаж в июне 29
- смерть и птицы 30
- пригоршня соли 31
- инспектор урновых полей 33
- вступление висельника в рыбу 34
- лазарь летающий 35
- придорожное ложе 36
- старик в ящике 37
- прощание с и. 39

железные дороги 40
никто не уснет 41
рождество на берегах звериной реки 42
диспансер всех конфессий 47
с п я щ е й
яблони 48
месяц бессмертных 49
деликатность стихий 51
змей 52
курс. червь 53
отработанный материал 54
гвоздь 55

ПЯТОЕ ЦАРСТВО

хранитель 59
верность 60
парк охманьского 61
камнетес 62
круги 64
минута 65
луч 66
урна 67
призраки наших мест 68
приверженцы 69
владелец 70
гребни, ножницы 71
селó – вечный ген 72
пожар 73
кат 74
расточительность 75
жонкиль 76
прах, колокол 77
голубицы 78
лаборатория, кровь, роза 79
вдовец и золотой мороз 80

институт мари *81*
участливые *82*
глюрия *83*
[из нашей экспедиции вглубь глаза] *84*
месса лядзинского *85*
мадонна *87*
тень в озере *88*
соседи *89*
стыд и вишня *90*
грязь *91*
должностные лица *92*
птица едва ли *93*

МОЛИТВА О ЛЕТЕ

[травы начинают производить сумрак] *97*
сара *98*
молитва о лете *99*
все мы тоскуем здесь, лео *100*
шлаки *101*
белая легенда о подках и о детях, их кормчих *102*
несколько жарких дней *103*
о цикличности *104*
всегда на север *105*
семь лет *106*
о смешении пищи *107*
корона *108*
зареве *109*
пляж. канун *110*
двойные ворота ночи *111*
о снах *112*



Монин Генрих Михайлович



зимняя уборка

мертвый есть тело, в которое бог
заходит подремать. его окружает
морозная ночь декабря, одевает
поезд, стоящий в поле, женщины
с фонариками на лбу — юркие
квадраты из латуни и стекла, трясущиеся,
словно у них внутри лежат семена
или стрекозы. сквозь мрак
разом проявляются — молитва и вой, диаконы
из семинарии несут респиратор
и библию. и тарелку, и ложку,
и губку. им все еще невдомек — мертвый есть тело,
которое уже чисто. за богом убирает
земля, ее тема

поэтому ничего

позже пришла пора досвиданий.
поезд, красные огоньки в последнем вагоне,
вольфрам в отдаляющихся глазах,
мешки листвы вдоль аллеи,
может, фигуры из вздохов и беглых вод. может:
значит, не было. не в тот раз

как раз тогда начиналось время,
бежавшее для всех, кроме
тебя. и было ничто — оно было сложнее,
происходя от даровитых богов, которым по плечу
творить ничтожное и учить
ходить, чтобы само ело

навоз и банки, лежащие на разогретой соломе
подворотен, метеоритные ливни
ночного видения, в ту пору, в лёте пойманных
псов — то, что мы освоили,
что нам казалось

ЛИЛИЯ

куда-то делись мужчины из арок,
со стройплощадок, блеск руки
в ночном автобусе, тянущие
чемоданы на колесиках гости.
колкий ветер. туннелем под серыми блоками
вновь влачится обвитая цепью голова,
в ней пепел, муар. жили во времена,
созданные ни для чего — роились над нами
ангары пустоты. а любовь
с лилией параолимпиады в тылу,
любовь и ее зверье, бешено и покорно — не существовали,
так что лишь немногие видели их,
прочих нечем утешить

КОВЫ

женщина, когда с ней прощаешься,
и смерть, когда тебя принимает,
говорят одно и то же — тебе пора

над погруженным в тишину городом
и всеми детьми в этом городе, ночью становящимися
стремниной лиц и голосов, только закованных в хрусталь, лед

с утоптанного снега вдруг маятник птицы —
твоя бывая тень

до появления тела

и комья земли, принявшей их

разговор продолжается

появляешься там, где была
в моих глазах — повсюду.
отступившая от меня вчера,
сегодня близка по-прежнему

словно уснула в токе крови моей,
чтоб не знал ночей без тебя

*

пятнадцать лет я не засыпал,
чтоб не знать ночей без тебя

пятнадцать лет я не засыпал,
лишь бы на миг ты уснула

*

словно бы не коротал я своих ночей,
подступавших к водке, текущей меж
времен, прошедшего и ненастоящего,
запутывая и отодвигая всё

кроме памяти

*

читай мне:
боль — сервисная книжка. читай:
тело — проводник по тени

*

не дождалась своего дня рождения,
маячащей в блике стробоскопа зимы, когда мчащиеся
поезда превращались бы в голубой пламень
в кустах над гнутой рекой

*

не ожидай меня,
мы одни — приглушенный зов
с того берега, но снег ли это,
или твое тело посмертно вернулось,
не встав на якорь, не знаю

снег всегда датирован

*

*а то летел бы на зимнее поле,
на акустические экраны автобанов, и ты бежала бы рядом,
заиндевшая в колоколах и лентах —
искра — сестра звезды*

*

ты была моей кратко и просто. колли,
поднимающий облако кирпичной пыли,
ангел, несущий ягодку клюквы:

вот сколько тебя,
а ведь еще целый месяц

*

все это когда-то уже случилось.
всему этому суждено случаться вечно

*

бляди везли меня на вилах погрузчика
сквозь лужи машинного масла на опустевших фабриках,
сквозь электроалтари над продовольственной лавкой,
наготой воскресного захолустья,

где побежали в парк девочка и собака,
зимним вечером, давно

жить
я приехал

*

шепчу

шепот напоминает ужа
только вертикален

*

именно шепот о времени,
когда были платформы в алом блеске заката,
дети в фарфоровых сорочках, сдвигающие фонари,
стаями; когда звучал окрик

// — мороз! —

и ласковая усмешка по поводу мороза
юной женщины, ее прищуривание:
время, когда любовь превзошла все
на свете

теперь нет света

*

той,
которая тогда усмехалась,
уже тоже нету

*

читай мне еще:
суккуб — это одноклассница, повтори:
прошое — дни, которые еще длятся.
осмотришь

*

иногда так хочется получить тебя еще раз:
тот же состав
тех же самых генов

словно не было.
не прошли годы

*

иногда еще так хочется попробовать
той пищи, пыльцы,
// спадающей на открытые плечи,

но не осталось даже тени яств,
даже пыли

*

много нового — гелиевая мошкара,
свежий пропан-бутан для кремации,
светомузыка на надгробьях

столько наработано
по ведомству сна, пламени,
хотя паразиты
остаются формой огня

*

*ты же будешь стариться в мегаполисах,
музеях и читальнях, над которыми взойдет
заря новой печати и монтажа (столь тонкие вещи
много наработали, соревнуясь)*

такого не будет

*

будет: другие жены
развозят саночки. другие жены шепчут:
тихо, лес

*

*(а то и пройду мимо твоего дома, а то и
пойду в парк вдоль реки, набрав себе
хлеба для уток, застывающих
на воде каплями воска)*

*

итак: все время кажется,
что снова встретимся,
что еще свижусь — вечером
возле часовенки *храни нас господь*, хранимой
ветвями в опоке

*

мои руки, покрупневшие,
наверно не отвечали бы твоему
лицу

наверно отвыкли,
однако не масштаб шкал
и не привычка, но длительность тишины
удостоверяет разлуку

*

итак:
прерванное было всего-навсего жизнью.
разговор продолжается

глянец

монастырь в словацком местечке зимой,
где спали знатоки энтропии, туман,
незадолго до сумерек снявшийся
с болот и полей,
просвечивал сон их как белые клеммы. мужчина
в свитере с начесом, прибившийся к нам
с невысказанным изумлением
или просьбой. словно жаждал
щипнуть хоть малую из струн
собственной крови,
призвать — любовь, мейн талмуд.
или уж никогда не поминать жалоб:

этот глянец — кожа,
им оплевал меня мир

сон о голове под жидким небом

пацаны из малогабаритного автобуса,
они бегут с мачете, чтобы проредить город,
а девушка выходит из подземного зала,
доверив отцу арфу из папиллярных линий. две тени
оставляющие трансвеститы: свою
и своего предыдущего воплощения,
тот, кто дышит в машине скорой, мягко
и медленно — будто бы брел в хлебах,
постукивая в окна. ночь,
в которой глаза видели далеко
и глядели бы дольше — если бы не концерты,
под патронажем животных, старцы,
согнанные в тренировочные казармы —
если бы они огляделись в этой самой реке
пламени или чутья, в этой самой
голове незрячей, но крепкой

исповедующий отворачивается

Радославу Раку

лето сдурело от зноя — начинает, как бы
шепча литанию. кирие, кирие элейсон. — дни шли
широки и раздуты, как бы изнутри
их разносило светом. ты стряхивала
с плеч сухие травинки и стебельки,
одевалась, а я собирал их, на ощупь они напоминали
папиросы. вечером, встав на колени, клал их по
очереди на язык как облатки. были
горьковаты на вкус. ночи забегали
украдкой, на мгновение, а садом
текли реки из дымящегося стекла
и пес облитый бензином светил нам ко сну.
мы не заснули ни разу.

так помню

ожидающий вдовцов отворачивается

видел, как возвращались. что ни
год, шли будто в армию, будто прежде,
сквозь зимние поселки — снова
были в школе: пахло мастикой для полов,
сортирами. вызванные тишиной
или знакомым голосом. я ждал
этого всегда. подозревал,
что под конец они станут
как прежде — когда умрет она.
та, что забрала их
и задержала в задумчивости.

любовь

инструменты времени

год, когда ты устала рано. и год,
когда стала раной, в собачьей
сцепке, упряжка, тягающая в гондоле
бога с метлой для керлинга

или звезду породы:
дивных долгожителей. женщины
как квадратные овцы, лежащие
у колодца: сон

друзья-товарищи — вряд ли,
никто не задержался. и тело —
бубен из альвеол и мышц,
в него били мертвые, влекомые кровью

и там, куда ударили,
он съеживался. сделался эхом

и, значит, он всюду

красный хлеб

когда вечером легким, смердящим,
когда к парку мы бежали в ночное. в туман
выходил незрячий, грыз его и рвал,
чтобы стал парашютом. бестия в человеческой коже,
обшитой ветошью с золотых уступов,
страдала перед нами
в тот самый тающий час,
как будто бы опустело ее корыто,
и полагалось
выжирать сердцевины —
свою бритву, свой красный хлеб

Те с нами

вон та фигура на вершине горы,
ее принимают за звезду, хотя у нее
есть тень — как у людей с лицами
из золотой бумаги в пожаре
во время ограбления лабаза или затмения солнца

— *то камень, служащий гор*

вон тот изъятый из матки неживой плод —
лист, который сворачивает дерево набок,
и погремушки на тесемках, коляска
или глаза и руки, хватающиеся
за замороженный ободок на экране доплерографа

— *то данники родильных покоев*

вон те, шепчущие: *я ординатор боли,*
копая в земле ямы, чтобы в них разместиться
под паранджой фольги для защиты
от ливней, от сального прикосновения
щупалец хаммама

— *то инопланетяне — это
люди с достатком*

а мертвые?

— *мертвые, те с нами*

Танцы с коровами

тела, с которыми я гонял мяч,
запрыгивал в сумеречную реку
и целовал ножи на белых карьерах,
они вынюхали, нашли меня

вышли голые из земли
и бегут ко мне по лугам, танцуя с коровами,
и у каждого на шее пес
как шаль. как шаль

ночь откроет карты,
кем я уже был. кем мы были
вместе — призовет души,
взрезанные морозным галуном молнии

компоненты снега: шум и контракция,
салют на приятие умершего/
умершей — я ждал его, плача.
твоим глазом был

пейзаж в июне

городу не любы похороны,
трупы, парящие на копченых петлях среди блочных
склепов. юная
женщина в ювелирном ряду. голубкáми с
облатки в ней млеют сперматозоиды,
и строй наступающих лет — ее:
вчерашняя ночь. взгляд скользит по урне,
не треснула ли — следы от пальцев как гвозди,
вращающиеся в раскаленном эфире,
где станут тропками
и побегут по дугам, по головам
девушек, играющих на гитарах, по скверам,
белым ветвям, по мне

ничего

смерть и птицы

обугленные зимородки в тени, на крыше,
ивовые ветви нависли над ними.
в перьях кустистый дым, пронзает насквозь
управляющие крылами мышцы

и голову — подсвеченный боупинг
на сидящих на мели галеонах.
умершая ползет в дым,

уминает его в кольца, выкликая резко из сумрака
каждое из прежних имен наших
с ней, в любом из мест тишь

до краев. я бежала
там — указывает — нить железобетонной пряжи,
увязывает — репы в трубах
калофилтрации —

моим был мир

пригоршня соли

*мир здорово похорошел —
к примеру, у нас теперь много красивых офисов*
Лори Андерсон

городок лежащий среди холмов,
твои вечера и зимы: впереди у нас — вечность.
твое кладбище. там мы вертели дырки в земле
и сыпали соль, чтоб умершие
могли приготовить пищу
и растопить лед

(на льду мертвые, говорят, оскальзываются,
кухня же мертвых пуста без соли)

*(я не уверена,
что когда-либо понимала, что это значит.
это увлекает. чего-то не было, а после есть)*

живу той зимой,
для меня те дни еще длятся. шампанское
и серебряные дети в мороз, когда они
звали, сбитые на бегу: где обозный, где капо,
где твое королевство,
каменюка?

*(люблю выдумывать новое.
казалось бы, все-то мы уже знаем, но это вовсе не так.
общалась тут с собачьей тренершей)*

каменюка, ты — в камнях,
мой стылый шепот, когда говорю — там,

в известняке, на медных подушках,
в парках, где лампы гудят как кислотные прииски,
в палисаде при том-то доме,
над теми-то озерами — спи,

спи

*(сейчас я располагаю одними лишь словами.
это меня весьма занимает)*

да будет хватать тебе соли

инспектор урновых полей

преследуя женщину, минуешь
мосты над горными реками, склады
для садоводов, где на витринах
в декабре пляшет кровь вишни. будто судно,
святыни перевозящее в жидкой форме,
бьющую по губам водку. как будто
оседлал кость и выгрызаешь
в воздухе ее импульс
и кривизну. настигнешь мертвую,
и всё минует тебя. твой ген — оплошность
грибницы — и он подвиснет,
а той бодрящейся земле — большой,
грязной земле не больно

вступление висельника в рыбу

вместо камня — аквариум, красная
бойцовая рыбка и отражения
глаз или губ тех женщин,
что поспели его утешить,

прежде чем выросли жабры
и он стал рыбой. трава шелестела,
сверчки клубились — пришел сюда
пьяный: он славил отказ от плоти

ради личного попечения над
сном и любовью. лет двадцать тому назад
*(родившиеся без него уже умерли,
родившихся после него уже четвертовали),*

покачиваясь на ногах, размахивая руками,
как если бы отрекался
от этой воды в этой плите,
отрицался воровления

лазарь летающий

среди проводов, спящих на штабелях
в хранилище угля, на пересекающем лес
полотне узкоколейки — должно быть,
там. (еще блуждают там мертвые,
а у них вечно было больше имен,
чем могли унести, чем мы могли
им дать.) переводя дух от земли,
вечно с ней расплюешься. умет лежит
на полях, покрытых старником —
шальная деталь кости или имплантата,
уже знакомая нам — масса тела уже
превзошла недостачу. ты увидишь:
лазарь жив. пребывает в воздухе.
смекает — головой вниз,
с комком праха во рту. туда

целуй его

придорожное ложе

что до астронавтов в остове заржавленного
автобуса у дороги, что до раздетых девушек
на берегу, камня, в котором — смех
или матросы, давящиеся горячей нефтью.
рук, полных рачками и пустыми буквами,
паломника, что брел по снегу,
обнюхивая и ломая его — ах, умение:
истечь кровью в снег. что до овчарки, бегавшей
с v-образным ремнем в зубах по механическому
цеху — мое придорожное ложе
и мрак — как вздетый над городом рычаг,
натянутый во мне ежечасно

старик в ящике

мы заперли его в ящике,
чтобы он не пачкался в тине, плаунах,
разраставшихся в стакане с водкой —
чтобы не мог ни встать ото сна,
ни выдумать сны для прочих

мы дали ему всё,
всё он и взял

готовую жизнь
для наблюдений

*они заперли меня в ящике,
чтобы не показал им, как выглядит небо.
как вороны кружат вечерами над разбитым заводом,
как тают льдинки на красной куртке
мужчины, которого мать провожает
к дому из медвытрезвителя*

*как бьется убитый за битого,
пепел за пепел,
грязь о грязь*

*не имел права заснуть или ослепнуть,
у меня были правила —
и это всё, что они сумели дать мне
в мой беспросветный ящик,
// по дороге в бездну*

столько садов, растений висячих
в ту ночь под веками, когда меня прихватило
одним прекрасным годом, с углями в черепе,
красивой и чудной хворью:
переносчик слов — она излечима,
но продолжительна

прощание с и.

для и. к.

расстаемся быстро и тихо,
незачем прикармливать память.
отдает зубную пасту, кружки,
банку мыла. делится. *забирай.*
ночь придет. бери же.
ночь нашего первого бдения,
когда был я обнят, когда я был бит блеском
торчавших где-то вдали балконов и сосен,
когда являлся чьим-то,
кто молвит правду сквозь снег
и сквозь пламень

нынче зола это я, мое

железные дороги

Мареку Лобо Войцеховскому

январь. над замерзшей водой вдоль рельсов.
растаскивая прутья арматуры,
красные диски кухонных конфорок
на границе эры или милосердия,

где снится незрячим пламя
в железобетонных бойницах. всех сметая,
кто уже выдвинулся на полеванье,
на поиски блестящих жил

подснежников — за жизнью вечной;
тенью взгляда, скачущего по белым
шпалам — глаз, которым открылось:
мир под ногами вразнос и дальше

мы же стоим со своим никчемным
инструментом в руках, с головой, тонущей в червленом
мраке — там, где вряд ли кто
явится, вряд ли когда-то спросит

зачем, для чего мы были

никто не уснет

сквозь плесень и вязь корешков, сквозь
гумно в котельной, сквозь заржавелые
трубы центрального отопления,
покрытые сажой и скипидаром,
сквозь квадрат стен, съевших
кусок атмосферы
(дом. дом без женщины),
зашит в крысу или в паука,
в эту ночь протискивается
мессия. никто не уснет
под землей — я клянусь

рождество на берегах звериной реки

*

дело было в местечке, по зиме,
когда расхаживали с вертепом по сытым
домам. снег лежал и вздыхал.
был четким.
глядел

и небо походило на свору перерубленных псов,
а может и чертей, когда пронесли фонарь,
серебряные иглы в глазах — мерцанием
советских ракет обнадежены,
строги

здорово, колядчики
тогдашней лютой зимы, обходя дозором
местечко, отапливаюсь вашим блеском

первым шел ян — огонь,
и кшиштоф — бог-искупитель в защитном костюме,
затем ты, мне не вспомнить твоего имени,
еще марк — последний король польский

да кто ж знал об этом? кто ж
знал? откуда взялась та влюбленность в белизну,
вечная, кто решил, что восток это мертвые,
поющие ночами ламенто, непрерывный марш
// окаянных, эта беда

вздохай, снег.
вздохай. глядите,
колядчики

наши дергающиеся тела
в перьях и рукавицах, укрывающих то,
чему должно стать — текущие под нами
реки или женщины: юность —
странствие в мякоти летучей рыбы

однако не застолбили,
не выгрызли нор:
ни ген,
ни пророк

не возвращайся, время — больше не нужно.
кровь — доспех мой, наденься на меня изнутри.
вздохай, снег, вздохай.
слепой народился

*

синева в жестяных фонарях
и пятеро мужчин с мешками меловой штукатурки на санках,
и пятеро окрутней в капюшонах
тогда от меня бежали

пели миру в вигилийную ночь
с трубкой для осеменения гомосексуалы,
с бешеной маткой телевизионные лесбы
превратную свою песнь

я шел вглубь мороза
// и видел корову,

бог висел над ней, облепленный мухами,
и был как спящий в окаменелой крови хирург,

на электрическом стуле, с рукой
на яйцах, обоссанной

пронзал его месяц
морщинистый и емкий,
словно его оттрепали ротвейлер, песий царь
и жид — достойный столп человечности. свечи

горевшие в пенисах из стекла, дети,
да, чада европы в латексных коронах,
негр, несущий часы эволюции —

исчезали разом,
сладко и ядовито

о мир, от меня бежали
карлы, воя по вниманию снега
к своим резко оборванным жилам,
любовь, и она знавала великие моменты,

и нарожденный — хотел быть рядом
и был рядом яростно, когда ночью
он облик твой изменял — к животным
адаптированный, безокий

*

эта ночь размаха и слепоты,
и волоченья за руку вдоль бережистой речки,
где то, что было нами,
// могло бы быть тенью

тягала бы эта тень пилу или нож,
была бы засалена по посещению мышцы

ночь, которая всегда здесь.
для пустоты. для шика.
для возобладания ничем.
для ветра

и хирург дает ей цветок из медицинской книжки,
и мусорщик поит ее супом из канала теплоцентрали,
чтобы стала рингом,
вызовом — ты!

заговорить,
но не позабыть:

тело
ожидающее разве что нежности и удара,
боль, не обретшая в нем отдельного имени,

также женщины,
все женщины, которые меня будили,
были кратки, шелестом крови в огне,
из сральника выводя колесницу,
а после подбирая коней на бойне

*(и женщины проносились над городом-телом,
разбрасываясь хабаром из воровских малин,
головами в пакетах-маечках)*

заодно мертвых, которые в цифре 8
наблюдают не пару кругов, но бесконечность, поток
гемоглобина в заржавленных скафандрах
// (жаль, что им не суждено проснуться)

и снег — море в беге по линии, уводящей в зенит,
снег — золото партии

и те, что были богом,
были бы парой стариков, прощающихся,
увязая в своих дыханиях,
елозя по стеллажам из искривленных костей,
а третий меж них был бы эхом:

— *ты видел взрыв? ну, говори.*

— *эх! отче. я был внутри*

диспансер всех конфессий

*Те, кто говорит,
что умрут сначала и
воскреснут, — заблуждаются.*
Евангелие от Филиппа

вечность равняется длине жизни
после ее краха. и фиолетовые льды гипермаркетов
там вдали, и сны на диких лугах
теместы и лексотана. тьмы и тьмы
слепцов, скорченных над талмудом —
ученые раздолбаи, эпилептики
в скафандрах, марающие иконы,
на которых нимбы святых — суть яркие овощи,
отмыты в уксусе, подвязаны серпом. тьмы же
городов халифата — ночь мозга.
вечности еще равен булыжник,
за ним ты нагнулся, чтоб те сумели понять,
булыжник как лекарство в руках
одиночки — и ты готов делиться:

умерший раз уходит из дому
и навсегда остается на службе

с п я щ е й

*Не бродить нам вечер целый
Под луной вдвоем*
Байрон

яблони

вроде вижу — год,
когда щенята угождали в реку
и не тонули в деловитых водах,
еще разбрасывание угля у пекарни,

в углях звезда, видна единственно
в прищуре век, подсвечивавшая всем тем,
что не искали ее, что не желали
смотреть. так вот любовь —

сила отталкивания между
вещами и людьми, чтобы они не
слиплись, но были рядом. так
вот мы. так травы. знаю —

стало быть, не смерть. всего лишь
вдруг прямо перед нами вырос сад
и я остался,
а ты вошла в круг яблонь,

белых яблонь из дыма из крематория

месяц бессмертных

город, неторопливо ползущий
мимо перевернутой лампы, псы, забежавшие под траву
при терриконе. (дрожит, над ней всё
еще переливается гон: вечером,

март — это месяц бессмертных.)
тонкие прутья привязаны к рейкам,
чтобы их не калечило — теперь это
вербы, белые зерна в воздухе,

зеро после нас

*последний март наш. час наш
последний. луна как фрегат, разъятый на части,
глаза в цвет тех людей, что вышли из моря*

*а месяц был оружием — как клятва двоих —
если исчезнешь, я забуду
так, чтобы не потерять*

*поэтому не вдох-выдох,
поэтому не сон*

вновь смыкаются,
разведенные ночью — берега кипящей
реки из крови и кож, а вены или зарницы
// как взгляд внутрь лучающейся головы —

и наши тела там, обмыты,
словно тот, кто знал решение,
не удосужился вписать его паленой рукой. словно
отныне уж так — мясо,

мясо повсюду

деликатность стихий

темнота охватывает все,
ничего однако не трогая. море
форму твоей ладони, его пересекшей,
превратило в тонкие, прозрачные камни —

нижние этажи воды. помнит.
зима. луна как кроличий глаз,
оправленный квадратом серебряного картона — там живут те,
кто подрезает ноги

и растет снег. каждый год я
развожу огонь для тебя. вхожу в его глубь,
как входили мы в парк, когда после каждого нашего дня,
пасмурного или ясного, после каждой ночи

возвращались счастье и ты

змея

снег объявился
и тускнеет в твоём месте на узких поручнях
для инвалидов возле продуктовой лавки,
на твоей коже, уж

качающиеся лампы у шиномонтажных,
месяц летающей ладьей свидетелей
иеговы — этой ночью тоже тусклы,
мозг мотивирует

как забеги до аптеки, августовское
солнце в стеклах, выпутывающие из бинтов
веселую зверюшку руки.
или она, её зов

как будто слышу то,
что тогда, уж

*нам посетить придется много мест,
немало комнат и лугов, где нежность
нашивала черный фартук санитаря
и сонм свечей в своей руке многозарядной,
навек безопасна и незряча —*

так?

так

такой была перед твоим приходом смерть

курс. червь

собрались лететь на маврикий,
в город цвета спирта на карамели,
где солнце черным скелетом
своим оплетает гвозди

или — мне приснилось,
ища прикосновения, дал тебе руку
и выскочил из нее червь — мозг всезидитель —
мы взяли ложный курс

и наша разлука тоже.
прошное. там мы сойдемся.

больше ничего нет

отработанный материал

ни к чему теперь эти платформы,
фонари, превращающиеся
в шелест ножей, висящих
над городом. ни тот,

что кричал в сруб колодца,
ни сроднившееся с ним эхо,
уже отработавшее, с износом,
тебя опоясавший круг белого дыма,

как иней, облатка с известью,
не вернутся. мгновение, что в последний раз
запечатало твои веки (как быть должно было,
я так понимаю, на веках бога тоже

есть печать), из крови восстала тварь,
умылась, оделась
и улеглась на снегу.
в то же мгновение ясность:

спи, любовь. усни

ГВОЗДЬ

а лето превосходило нынешнее,
ты знаешь. штормы — эти купания в скрубберах,
твой голос летит за мной сквозь ночь
пьянства. сквозь ночи томления

бог-то заснул: свой фартук, каляный от спекшейся крови,
поставил на пол и сразу спустились дети,
о-о-о! — закричали и тихо
вбежали в него как в светильник. карлики и близнецы

рыли в золе тоннель железнодорожный
и выковыряли гвоздь — я вбухал его
в твой висок, чтобы ты уже привыкала
к бессмертию, к жару

горелой травы, отрастающей ныне
вместе с теми репейниками, с чугунным
сверчком на ладони, с той пересыпающейся
над тобою нынче землей



Третье царство



хранитель

нет больше серебряных шин,
пробегающих заснеженным видеорядом
в клипе агнеты и фриды. нарезающая бороздки тьма
и чистота — нет двух сестер в схватках,
в фиксации. расслаиваются перья
в мелиоративных каналах,
ветер бьет висельника,
сдирая с него кожу.
что, выпался? — шепчет.
жестоко работаете, бобыли,
для мглы, для пустыни

верность

небо над замерзшей землей
как вылушенное изо льда озеро.
губы прижаты к монитору в траве,
там ксендз и врач толкуют
о космосе. спецы по востоку
от будд и супов, знатоки запада —
служка анахорета с урной
через плечо — с обезьяньим прахом. сквозь сталь,
развешенную на склоненных ветвях,
сквозь вонь вокзальных сортиров,
сквозь голубое искрение
в изоляторных стыках
ползут, притуляются.

о, свинота

парк охманьского

не надо туда, парк охманьского
загадили инвалиды, повилоптали кони,
поднятые на бойне. был,
пока мы о нем помнили — форсиция,
размноженная белым калением,
крючки и головы, кровянящие
пакеты из пластика. и еще
помню, бац — струна
ссученная ветрами,
ее облепили глаза
и лапы зверей — нарытые из песка
ластались, липли —
каждый был мертв и неистов

камнетес

как если бы лето никогда не кончалось,
как если бы телом навечно стал холст,
порошица с плеч от вошли и вышли. радиоточка
передавала: сердце коллонтая,
склеп — шепотом — *хвалим тебя,*
иисусе христе!

но это было давно, не вспомню сейчас,
нес ли крест, отливал ли пули
там, где есть место жизни, поездкам, птицам,
становящимся ожерельями искр над городом.
смерти нет места

пофиг, да славится, пофиг

и сумерки объяли меня,
разлегшиеся на траве рыбы в сварочных масках,
сумерки надежных занятий: каланчист, ревдик,
капо

и эхо было хрупким,
шепелявящим
подобно выдоху газа в позолоченном сейфе:
чао!

кончено. да славится.
пофиг

и пара женщин, приземленной
и механической крови, везли меня

в такси-холодильнике сквозь не мою ночь,
и проблески, и квадратные лучи —

вырванные вдруг из густеющей тьмы,
в которой камнетес наклоняется к молнии
и ждет — как он уверял:

там жду тебя я
и в скорбь претворяю ярость

КРУГИ

невдалеке позевывает берлога,
изуродованный вникает — тело являлось
лишь жестом доброй воли, равно
как времена года, облава на то,
чего вообще могло и не быть,
на жизнь. глаза — глядящие в узел
концертино на дощечке для шахмат,
летающая в воду палочка
и ладони — нужны были
для поддержания кругов,
расходящихся по слизистой
и небыстрой речке

минута

скоропостижно умерший
отъехал к немцам — скажут шепотом —
там примеряет доспехи. медленно
угасающий выедет к русским
и там сопьется. память что эта ночь,
мчится по небу в ассенизаторской бочке,
сжигая соляр и сперму. прищучишь ее,
сразу хлынут — руки, в молчании
дерущие дерн, домовина —
минута натянута заострена,
сомкнута с обеих сторон над нами

луч

время песен на орлиной тропе,
над затопленной шахтой
как опадание в медленный
и крутой снег

вот так мы пели:

*жди меня, и я вернусь, приду к тебе
за заботой. за жизнью. увижу
тебя и прилеплюсь снова*

*будто не было ни бед, ни разлук.
будто не было. не шли годы*

а рядом
бежали очистители трупов
хоккей на склоне серебряной сопки

солнце, выкраденное из закатного парка,
чахло, покорежено, на грязном снегу

в нем завывал цепной пес,
луч мой

люлька моя
в его кипящей шерсти

урна

те прежние дни — райские птицы
гребут фекалии из противопожарной траншеи,
сброшенная ужами кожа, спокойнейшая
просьба — наполнить

там, нетронуто,
из молний, лупящих по трансформаторным башням,
проливаются лица, тонкие силуэты
прямо на луг, я узнал их

и подумал — случались между нами. твой смех,
мол, могли бы заранее разбежаться, оса
на твоём алебастровом локте — то,

что теперь оставляет меня,
а оставив — берет тебя с собой

призраки наших мест

наполняющее танкеры лето,
сколько его было. там, в дольном месте,
где запойный распевал о мясницком ноже
и серны выбегали из его высохших жил,
четвертованы. монашки с дароносицей — скользким
гало мочевого пузыря,
шли на заре через улицу,
молчали и шли — там,
где не спрашивали про любовь,
про то, что было бы,
где спящие наши тела
в призраках наших мест

приверженцы

не то китаец-астронавт,
мчащийся сквозь мишурные ночи галактики,
(ночи нынче выплавляются в китае).
не то заря над гипермаркетами,
кассириши в колпаках санта-клаусов
считают шары, в которых снег опыляет спины дельфинов,
а потом видят: зверство,
зона из стекла. не то это угаснет.
пройдет. пускай же меня
отпустит: этот гнев
набухший в одиночестве рук на терминале, обруч
аргонового сияния над головами толпы — ангел,
агент веры и педерастии, ислам рождества христового,
ислам — bestия с гор

владелец

смерть снилась мужчине,
села против него и ссала. пух и перья
вставали из урины и собирались в птиц,
и лето, как прежде лицом к лицу
как головы личинок, белые изнутри. тебе
принадлежит мир — шептала. и
тут этот спящий мужчина заплакал,
как будто вспомнил что-то — чей-то рот, руку
и то, что после: вакуум —
панцирь пустоты, когда сон
отлетает, проходят дни

гребни, ножницы

были обманчивы сувениры и лица,
было неважно — огонь или пустошь. заваруха
среди избранных над водой — может взрыв,
засорение глаз, может утопленник,
вдруг, мечтавший изморось

хрупкая, нестойкая рука двигала корабли
и уносила вдаль, через пляжи,
дрожащие на свету небоскребы. бдящие искали терять,
искали забыть. спящие падали в подсвеченный купол
и глядели в склоненную над ними воду

песчаные зерна
со следами ножниц,
растяжек. гребни — сказано —
острые гребни глубоко в нас

селó – вечный ген

живородящая полость. гнездо
обесформленных. жители переложены псами,
чтобы не грызться — близость и роднит их,
и сводит с ума. системно обученные
искусному ремеслу — выведению
стыда, когда по прибытии
их уже приветствует хор —
прочь! прочь! деревня,
твердящая — подозреваю,
машинально, лениво отрыгивающая.
иди, мумифицируясь

не стой же. иди

пожар

доставленный в дом престарелых
лежит на койке. шепчет про себя —
это всё

*индпакеты бу,
сотрудники автозаправки под окнами,
заливное и осы*

*женщина, которая варила мой рис
и готовила перец, фаршированный мясом*

*дети верхом на санках
или те, что суют в багажник похоронный венок*

*модели летающие,
ключ шведский
и мне несущие пледы медсестры*

*пожар,
это всё —
это всё было огнем и я на мгновение*

*и я замчался между его языков
и уснул с томом жюльверна*

кат

я забежал в море, мой рот соли
был полон, пляж щедр.
в воде лежали — велосипед, автомат для коктейлей,
ветер напоминал речь животных, взращенных
в тени. дикий. дикий был ветер,
из ярости встававший и мне
вручавший пилу. и мне шептавший,
каков взгляд ката, когда он порет,
сечет: хлопья снега блестели
на контактной сети, посев
прошлой ночи — белое,
безволосое тело и маневры

расточительность

устраивали похороны птицам,
на гора выдавая всё, в чем нуждается смерть:
колокол, работающий не в фазе с кровью,
деньги. память. иней в чаше обсел груды
железнодорожных табличек,
долбил туннель в горелых
глазах. за твердь крови нашей
во тьме бились жмурики
и мертвые птицы — похоже, перенявшие упорство у снега,
по случаю, похоже, в мотовстве своем им
посулившего, что и себе:
вновь быть

ЖОНКИЛЬ

продащицы за дисплеем кассового аппарата,
во флисовых куртках, в отделе
химикалий. нарцисс,

украденный ночью с куртины при комбинате,
операторы кастета и фрикционной дубинки,
освежители — ароматы рассола и кулака

или дежурные шаманы
от абсурда, мужчины за исступленной дегустацией стихов
в каталогизированной жопе мира

всегда — конфекция,
всегда — хохма

браво, браво!

учения судовых остовов в системной мгле:
вымпелы ничьих цветов не плывут над ними

прах, колокол

давно не леживал в прахе. теперь
да. сбиты в кучу колокола,
псы и колокола, цепные и соборные шипуны,
ветер бьет в них и рассыпает
над городом — там вскипают,

гаснут. ребенок в глазной повязке
легко прикасается к выходящим на перрон
женщинам, изучает мужчин, доставляемых
эскалатором. не время — повторяют
те, кого задело — еще

не время. и черный толь на плантациях,
на нем обугленные — венчик, шмель
и те, кого нет, вдруг явлены мне сумерками,
чтобы вручить зародыш
и весть — тихую — это прах

работает в нем, болит

голубицы

голова, снятая с шеи кентавра,
парк, где четыре женщины в брезжащем свете
пили борыго из рваных рефрижераторов
и жидкость для омывателей.
именно там мы встретились
и разлучились. ради той клятвы мрачной
на зимующем поле, для рук запускавших
кровообороты разгоряченного газа —
случилась та ночь — и бляди, мои
бляди в нежности и в насмешках
как голубицы в снегах над монастырем,
они пели ламенто

лаборатория, кровь, роза

бутылки с гармошкой. фотоувеличители:
крокус и магнофакс. коррекс. часы
фосфор. советская искра в полсотни ватт

они возникали в ее лучах, непобедимы,
твердили, юность, мол, партизаны в подполье дряют обрезы,
цветы и боеприпасы. затем исчезали,

растворялись, а это больно,
нервы. выжившие же в бриллиантах, шмотье,
по пути домой на санях сквозь темень — те же

а может и нет, возможна ошибка,
роза или тампон, попавшие в руку, настолько неловкую,
что ее отдергивают, твердя — сколько

крови. сколько крови. потом глазами.
потом губами ту руку. роза —
утверждается тихо — роза. моя, да

вдовец и золотой мороз

ночью над городом идет рыба
с кремационной печью во рту

бог рождается
в доходном доме — ему на лоб
крепят горняцкую лампу,
дают заступ и грабли

собаки воют
на заснеженных отвалах котельной,
обрезок трубы из кустов поднимает сторож,
вроде иглы в заиндевелой опере — фанфара

для ночи и золотого мороза
или романс о вдовце
и обуви в бюро ритуальных услуг — купил вчера

понравилось:
прощаясь, она улыбнулась

институт мари

все мои темнейшие годы
передаю на рассмотрение института мари.
а те радируют — годовщины поддержания

огня по берегам рек, женщина,
собирающая у ворот мандарины,
мельтешение пчел в садах только что. те

радируют — приезжай,
поставим тебе на лицо печать — полет снега
внутри папских перстней

и ты уснешь, карло,
и зависнешь в убойном подвале

участливые

разведка, бой,
будто рвутся на груды конского
навоза — представители скотобоен
безаварийных, супервайзеры
статуса и корпоратива.
сервис хайятт и хилтон.
секьюрити равенсбрюке. верны принципам,
участливы. они помнят о нас
и безучастно принимают
любой отпор, конечно — статистическая ошибка,
это бывает, пройдет

глория

так сыплет вдруг снег
и возникают в белой метели. мир
вновь несет им коробки китайских
цитрусов, зазывая — бензин, бар

и бог над ними в стеклянном хейнкеле,
воздев булаву гёринга. gloria.
gloria. мой дражайший

возникающий в белой метели — импульс
брался из зажмуривания глаз,
из взмахивания рукой, будто
меня искали —

та рука, что подняла меня с земли,
глаза, что поросли травой, но осыпающийся снег
подсказывал им: это там

[из нашей экспедиции вглубь глаза]

из нашей экспедиции вглубь глаза
нон-стоп прибывают шерпы,
настройщики ножей, проводник.
они переносят увиденное —
гималаи электроутвари на помойках, вдоль
берега растянутый невод,
über alles житие

стрежень крови твоей я вижу
и тень твою гаснущую
точно так, как погасла ты — внезапно,
тихо — под каждый шаг твой
кто-то стелил ладонь

месса лядзинского

гончая окидывает золотым глазом
стаканы, лежащие в нужнике гири,
хрустальную люстру.
луна светилась над нами —

налитая вишня,
и на клеенке выbleванный ксанакс
или же серые пуговки с плашаницы

мы вместе были на мессе лядзинского,
по-над шеренгами потухших окон,
над заиндевелыми часами
кооперативного банка

как бог,
зажигающий свечи в глухонемом,
как негр в танке посреди павшей бастилии —
так было там

вместо внутренностей: пчелы —
правильное мясо, венчание кислотой — *ночь прет*
хостотом робела — пел по радио охман

там мы лежали, плакали
и согревались лучащимся враскудьяк лядзинским,
в его летучем бассейне
жалеешь теперь?

// жалею

*отдыхайте, стаканы, спите
в нужнике, гири, нет уже лядзинского,
уже нету*

*гончая, отвернись,
негр, вылезай из танка,
потуши, боже, в глухонемом свои свечи*

лядзинский, лядзинский,
видится мне ночью, во сне,
будто бы в капле

будто бы вскачь по реке из замерзших бритв

робеющий и смертельный:
сын солнца в бутылке

Мадонна

вечер, каретные часы в автомобиле,
на пассажирском кресле. надевшие венцы из гофры
уже кружат по улицам. слепец
держит ламповый приемник,
проткнув антенной темноту —
вот-вот. черная мадонна в плаще из галоперидола
даст ему поцелуй и намордник
и отведет его за город,
на свалку, к канализационным
решеткам и трубам. и тут он ей
скажет — могу любить тебя

Тень в озере

отвернувшись, я снова вижу место: крапива
вдоль красным гравием подбитых дорожек,
дрожанием стеклянной радужки в озере твоя тень.
такая история — женщина случалась
трепетом рыбы и молнии, поелику бог
ее вылицевал и вылупцевал
а смерть — случалась тишиной после отъезда,
такой раскидистой, корневой бывала.
древней как я не знаю что.
не помню. мне страшно,
вдруг там ждешь ты — наклонюсь,
а что-то выпадет из меня неживое

соседи

за мной приходят
и уходят за мной — лицо покойницы
в дыму ночных очагов, бойцовская яма,

где вошкаются моряк и палач. жильцы контейнеров,
отбивающие на тряпочных барабанах
гимн электростанции и щавеля. обручи на дымоходах

так бог паял колокольню припоем из денатурата.
сквозь ржавые фонари ж/д магистрали,
кварцевое свечение диазепама на свалке, сквозь облако алой

пыли над городом — не мои ли забеги,
вглядывание в синеву, покуда не осечется снег
и моя кожа, вбитая в его болото,

не слезет с плеча
и не освободит личинку,
царство мое, мое соседство в галопе

СТЫД И ВИШНЯ

гадко блестят швы
после расставания,
словно бы линька какого-то ужа в стробоскопе

или мольба о сне.
о передышке, нисходящая с той высоты,
с дымами. это там он обустроил угол,
туда сносит памятки:

год у алтаря.
год у параши.
ее запах: стыд и вишня — дышать,
сука

грязь

прислушиваемся к гулу автострад,
фур, везущих контейнеры с синтетическим кормом.
мне нечего от него хотеть — шепчешь,
устроив в зеркале смотр видов
земли — шеренги урн в онлайн-стенгазетах,
каббала и транзакция — саван
израиля. о нас позабыли
шаманы, переносчики рифов.
время нашло себе других,
пораждало другим наши лица,
наших псов — но даже грязи,
даже ее не хватило бы на то, чтобы отхаркнуться
и скрыться под плевком

ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА

застынувший пруд и рыба,
лежащая в снегу как нож для похоронного шествия.
и око, тающее в глубине надо мной

и темные, своенравные старцы в отдалении,
талдычащие о терроре слова. за тридевять
можно отправиться и не просыпаться

земель. самый день рыбьей смерти,
студеный и одинокий — и смех
будто окно, несомое за гробом

и руки старцев, колеблемые
и субтильные, будто бы не сумели
вовремя открыть его раму —

как будто шло в нем то,
что они взяли да и потеряли

а шла в нем жизнь

птица *едва ли*

но и у тех, кто в задумчивости
спроектировал шелк секатора,
устроил на фундаменте высокое пламя,
ах — шепталось. но и у тех,
кто впал в вакуум — пустоту с ружьем,
подумал о пляжах, укрытых торнадо,
о навигации, словно знал, куда ему плыть,
куда идти. мои садоводы
вечно держатся праха. мое
всё. словно случилось уже
давно, не здесь. и не над
нами разворачивалась любовь.
любовь — птица *едва ли*



Mamma o seme



[травы начинают производить сумрак]

травы начинают производить сумрак.
нарастают лаковые шумы, твердеет простор,
ущелевший в стакане. *(да,
отсюда мы двинемся к югу.)* там вдали река,
этот извечный плеск во лбу твоей сестры,
в пластах соли, нервов

жив ли апостол иван?
бог весть. изучаю гнойники нефтеносов,
бордели, стариков, переставляющих шашки.
(да, мне хочется видеть эммаус.)
твои мертвые. коснутся рта, волос,
как если бы проверяли, не время ли еще раз
умереть. нахожу их,

отрясаю от тьмы

сара

омолодилась в сумраках. вновь твои при тебе
десять минут и шеренги больничных огней,
рвущиеся в небо как гроздья ночных птиц на магистралях. пух
спадает в кровь, из насечек на шине тела
вытягивая запах створоженной плазмы,
отблески голосов и теней, грядущих.
грядущих? шепчу тебе я, послушник
последнего высокоуровневого языка,
чей строй патетичнее целования умершей
или зависимого от гематрии. вновь твои при тебе десять минут
и они тают, сара, не следи за ними
среди миража граничных систем, цифр,
линялого шума молить, той старинной речи

МОЛИТВА О ЛЕТЕ

благословляю водоплавающих, чомг
ныряющих в летние бездны
на озере вонгель, с изогнутыми,
словно скипетр жара, шеями

штаб-квартира августа, томú семь
лет назад, желтые вуали тайнств,
нахлынувшие из неблизкого города
как чума, эпидемия отрезанных косичек,

разложенных по конвертам на память
прядок. растоптан и размозжен
летний плод, то страшное оружие зарыто
в землю, под ярусами крыжовника,

ибо там рос крыжовник. поздними
вечерами случается заскочить туда
с ладонями, полными огня, с огненным
стержнем в горле. ржавой лопатой

выкапываю тебя из земли, бывшее лето,
чтобы бросить в темные токи вод

все мы тоскуем здесь, лео

следы рук оттиснуты в песке, ворох поблекших букв
и фотографий. глаза, в которых плещется
отблеск озера, женщины скользят вниз к воде
и исчезают нежно, словно световые сады
на закате. известно лишь то,
что остается по уходящих сезонах, эра
немного кино — депеши и телеграммы, от которых определенно
зависела чья-то хрупкая жизнь. лео,
утомленная солнцем быль об отхожем месте (все
мы тоскуем здесь, лео). вечерами
отворачиваемся в ту сторону,
ветер пересыпает горячий песок — вялое
и легкоплавкое величие тела. тень
есть в каждом из нас.

ожидает нас тень

шлаки

в нас сходятся аорты множества мест,
где мы были первыми. укрытые тенью
горбатые силуэты букв, шелест радиоволн
как дыхание всё заполняющей сущности,
стоит только войти в светящийся парк. иисус христос
и летающая тарелка — как-нибудь сваять
такую оперу, блистательный балет для уебков. в их молчании
я поседел — театральный шепот, перст в
раздатые небеса. с таким прологом —
ночные гонки эшелонов, раскидывающих
свои грузы в хлебах, толчая языков
как реестр помех молчанию. сейчас струится сквозь нас
вода, картины лоснящихся орудий
и объективов, ведь мы все-таки пронесли
сюда этот нежный лоск,

а наши пенаты суть развалины,
мусор

белая легенда о подках и о детях, их кормчих

небо завалено на бок шелчками полых шестерен
летних галактик, целители городов
печат сплин другой заразой. шелок дымит,
частицы цезия вибрируют в стальных
раковинах — любимое зрелище герберта
из аврилака, скалы света. вдали
обвалившиеся семафоры, древний шелест
ветра претворяет снасти и металлы в сладкую
душную пыль. также и та рука,
в приветствии, прищур глаз,
та экспедиция к летним,
лесным полигонам.

а также и та
белая легенда о подках и о детях, их кормчих,
о нас, сестры и братья, в колких недрах пуль

несколько жарких дней

дыхание сминалось в потных ладонях,
едва ты вбегала на тропку к дурштыну. я видел тебя
сквозь упругий воздух, издалека,
как мяч, кладущий свое отражение

в раскаленный асфальт. пахло травами,
когда взлетала легко, сторожко,
нежимая испарениями тени,
как некто, кто не вернется.

так было сыграно,
запиши — просто так сложилось,
таким был недельный расклад в тех календарях.
и пусть зрачки твои размыла вода,

пусть ввалился твой нос,
всё это отнюдь не означает,
что прежде ты не рвала лютиков на спишских лугах,
в этой своей невыразимой вере, что жизнь прекрасна.

ибо

О ЦИКЛИЧНОСТИ

костры предвечерние эти,
молекулы аниса в женских вздохах. вслушивание это
в шелест автострад обтянутых прозрачной
сеткой огней в кунсткамере эпохи,
холод блоков диоры, радиотехники,
унитры. буквально всё это. пацаны,
таскающие в зрачках кобальт океана и шпагу,
что некогда было разнежилась себе в тени,
заспали, а нынче — глянь —
страшная сила выдергивает их оттуда,
будит. безбожно подорожала жизнь —
говорят. вот и год пролетел,
стоя на месте.

здравствуй

всегда на север

слабаки всегда идут на север. от них
остается нарцисс в чашке воды, едва уловимое
движение губ в клипе: мистагоги, псы,
остается слово — облагороженный яд. не
слышал о возвращениях. о снеге — лишь

то, что нужно — он повторяется, сгорает
и болит. десять и еще один год назад,
в январе — так приходят на память даты,
юбилеи, погребенные лавиной латунных
искр — так чаще всего выглядят

начала. помнишь? стерильные кабинеты,
в которых свет сочетал разум и взгляд
в некий превосходный союз — изуверство,
башни из мяса глубокого рифления, как раз этот стиль
и материал ценимы одиночеством — виртуозом

внутренних работ. наращивание
субстанций и дарование отрады,
введение пищи сквозь нетипичные
отверстия — хронические операции на всем,
что имеет тело и смысл — изначально было так,

боль, грациозен твой танец

семь лет

этимi семью годами пахнет туман,
кристаллы — крылья утомленных богов. согласно
неким легендам мы никогда не жили,
не было никогда жженья, твоих
и моих теней, когда, жарко сплетясь, они гасли
в сумерках. женщины шли
и превращались в птиц, безбольно
утекало время, выгорали краски,
хотя я столько раз говорил, — там.
теперь копать в отбросах. мрак
теперь. малые, озябшие дети,
вылавливают из воды наши
шмотки, притаскивают те памятки,
ведь смерть это остров. плыли к ней что ни год,
на что ни ночь легчающем судне

о смешении пищи

женщины, следя за взлетом воздушного шара, кричат, как если бы возвращали небу плазменный мозг существа, что смешало пищу — печаль и любовь плоти. это всегда болит. на солнце завиваются платья, у парней уже появились корбчки и кресла, чтобы выехать в глубь земли, отдохнуть. или же бог.

из чего он сотворил духоту? или же отпуск, насекомые ныряют в глубины крови, птицы с красиво изогнутыми шеями, из которых можно пить и не умереть — в неприснившемся сне сальто, падение

или соломенный куколь у меня

на темечке — а то и то

то, что осталось в памяти,

в момент отключения.

наши тела, ползущие по узкому молу,

источник обоих мраков и яркие круги вод

корона

Шишляку

женщина, которая встает на холме,
ее ноги в песке, а в памяти — сумерки и родные
с лицами, забытыми в час штормов,
в метели былых тризн волнение пламени,
плеск рыб, которые мечут икру
в аккумулятор. женщина
спокойна. обнажена.
берет с песка твердый, суковатый венец,
надевает его и плачет, ибо ей видны руки,
все руки всех времен с сотворения мира,
тянущиеся за любовью. за ней

зарев

куранты на радио этой ночи,
внезапный полутраур. в эту ночь никто
не скажет — ты был мне нужен. никто
никогда так не скажет. отсутствие
возводит дома, расходится струя реактивного,
уносящего странников за еще один океан
легко и сдержанно, как горстку
керамических пчелок. отсутствие — собрание точных наук
о распаде тела – церковное сияние в гранатовых витражах,
смердное больничное зарев. за тридевять отправиться
и не просыпаться. земель.
оттого речь сновидцев о затонувших
в тумане мастях, их рассказы
о лодках, идущих против ветра,
минуя сон, вопросы – что это
могло бы быть? пустота – трепетен в ответ шепот тех,
кто знает, это – пустота

пляж. канун

начнем с высоко подброшенной палочки,
ходы в замедленных секвенциях как осаждение руд
кислородом, пустой сон. клинкер,
облизываемый дымящимся языком,
арония. сказка — о рыцаре бедном. кайты, темные линии
связей меж змеями и руками детей на пляже, показательная
дозаправка кровью в воздухе
(слепые дни лихорадит,
рексио и лелек и болек)
потом сменится месяц. год
сменится. снег летит на замершие парковки,
на королей жизни, переносящих дары:
нектар и крюк — разбуженные птицы обретают крылья в неонах
и терниях. следует ночь накануне.
хирургия черепа. из тени
вываливаются долгожданные гости
и исчезают в тени.
мои мертвые —
говорю — наша связь прервется

двойные ворота ночи

уснул в лесу пьяным и тут же
встал. свечение у дороги шло
от набежавших животных, замороженных на бойне,
животных с копытами, звенящих мошнами
с замороженной кровью — мужская тень,
взглядом выжигавшая дырки
в земле — ты, командор, воротился домой. а месяц
в ту ночь сиял, словно призрак мозга
того, кто был бит. струился
лес, герои его, убранные
в плесень и стробоскопы, двойные ворота
ночи — оперетта и забой. вдруг хватился,
что нет нигде давешних детей моих
семидневок, что нет больше
ряженных былых зим, тех скромных
и мудрых женщин, явившихся к
нам на миг, на сеанс тела

о снах

печаль — помещение между ветрами
и телом, скорбь — жнец с серпом
за работой в снегу. пусть будет так.
позволь мне видеть во сне друзей,
приятелей в ловушках убитых суток,
их головы — полные пуха глобусы, кипящей
воды брильянт — вот их бассейн,
чан с запахом хлорки и лазури.
порой такие сны,
такие виды, что из отдаленнейших мест,
с уст давно не виданных персонажей
сыпется гарь, мокрая пыль
будто отталкивая или оплевывая тебя,
они же, напротив, зовут — о, останься



чужие среди чужих

Закрыв книгу Хонета (*1974) — «алису» (1996), «Пряником в ад, сыне» (1998) или «играй» (2008), — понимаешь, какие мы все друг другу чужие. Даже если свои. Самый близкий, родной человек может внезапно взять и уйти — насовсем. Ото всех — с Земли под землю. На этом факте изначальной несродности строит Хонет свою поэзию. Чтобы не строить на рассыпающемся песке веры в вечную или хотя бы продолжительную любовь и дружбу, в счастье или завтрашний день, он ставит дом на льдине; наподобие иглу.

Анастасия Векшина, первый переводчик Хонета на русский язык, писала в 2012 году: «Поэзия Романа Хонета состоит из песка, теней, животных, птиц, больных и мертвых тел. Это поэзия анатомическая, 'копающаяся в прахе', — попытка примирить полет и разложение».

Тогда это было так; сегодня это почти так.

Сказанное относилось прежде всего к томикам конца прошлого — начала нового века, то есть, к периоду поисков и конструирования «загробных, подземных, пограничных миров, ненароком пересекающихся с нашим миром где-нибудь в зеркале лифта или пруда». В двух последующих сборниках Хонет нашел способ: попросту не замечать разницы между полетом и разложением. «Апофеоз частиц» как апофеоз жизни. Точно так же предлагающая регулярные трипы в Зазеркалье поэзия — в целом — избавляет нас от вопроса «реальна ли жизнь», тем самым примиряя с нашей, кажущейся нам реальной жизнью.

А еще порой кажется, что Хонет случился, чтобы поэзия польская могла, наконец, смелее выходить из тени Милоша и Шимборской.

«Я — младенец, не способный отличить краюхи от зернышка тмина», — Чеслав Милош в «Песнях Адриана

Зелинского» (1943–44) намекал на то, что взрослый-то как раз способен; более того, вынужден различать, выделять, избирать. Вовремя тормозить. На маршруте в запределье поезд Милоша обычно не пересекал границ тени, но следовал вдоль них, предпочитая обзорные экскурсии: «Посмотрите налево, не смотрите направо!»

Таким образом впоследствии формировалась удобная и красивая поэтика взвешивания и раскладывания по полочкам в рамках разумного сопоставления. В ней хорошо чувствовали себя не только старшие Адам Загаевский или Анджей Сосновский, но и младшие Яцек Денель или Иоанна Лех, активно утверждающие себя «вне Милоша».

тьнь/ есть в каждом из нас...

О том, как трудно вырваться из лап гигантов, Тимотеуш Карпович в «Надуманном человеке»: «Свершил бесподобное дело:/ избежал языка родного/ В башне Вавилона/ сменил строй чернолесья/ на синтезы речи» (Чернолесье — имение Яна Кохановского — «польское Михайловское», воспетое Циприаном Норвидом и Юлианом Тувимом).

Редактор Алда Бароне не без удивления замечает, что «поэзия Хонета вменяема, насколько вообще может быть вменяемой поэзия. Она логична и даже избегает внешних эффектов — поскольку понятия внешнего и внутреннего в хонетовской логике взаимозаменяемы, — и ее даже можно причислить к современной классике». Ей, поэзии, свойственны нежность разочарования, агрессия отчаяния, постоянное ощущение неповторимости; она несет в себе вирус боли. Всё это — характерные черты милошевского синтеза. Может быть, чтобы не быть Милошем, не нужно ничего менять, а всего лишь не множить различий?

шепот напоминает ужа/ только вертикален

Русский Гулливер
планирует выпустить в серии
ГЕОГРАФИЯ ПЕРЕВОДА
книги

Яна Вагнера, Рафала Воячека,
Сигитаса Гяды, Тимотеуша Карповича,
Эйлин Майлз, Мариэллы Мер, Моники Ринк,
Збигнева Херберта, Эберхарда Хефнера,
Ульфа Штольтерфота

Русский Гулливер
планирует выпустить в серии
БРАТ GRIMM
книги
Леты Земадени, Норы Икстены,
Станислава Винценца, Щепана Твардоха,
Михаэля Фера, Зигмунта Хаупта

www.gulliverus.ru; www.gvideon.com